



Алексей Воронков

Алексей Алексеевич Воронков родился в 1947 году в селе Ромны Амурской области, окончил Уссурийское суворовское военное училище и Иркутский институт иностранных языков. Преподавал английский в школе поселка Токур Селемджинского района, в педагогическом и медицинском институтах города Благовещенска, работал в газетах. Член Союза писателей России. Автор многих книг рассказов, повестей, романов, стихотворений и поэм, изданных в Благовещенске и в Москве.

Рассказы

Русская доля

Иван Храпов, говорили люди, родился в рубашке. Во время войны погибли два его старших брата, а потом и младшая Люська померла от дизентерии. Наелась с голудухи немытой морковной ботвы — и хана. Остался Иван один у родителей. Когда шла война, он был подростком и его в армию не призвали. И с голодухи он не помер. Да и болезни его обошли. А ведь рядом-то мор шел — не приведи Господи. Особенно смерть не жалела стариков и детей. Короче, самых слабых брала.

— Ой, тяжкая наша долюшка, — причитала Марья, Иванова маманя. — И за что нас Бог карает?

— Ладно тебе, мать, плакаться, у людей-то не лучше, — говорил ей муж Егор. — Благодарю Господа, что хоть одного дитя он нам оставил. Будет кому на старости стакан воды поднести.

Егор говорил это так, для порядка, чтобы, значит, не дать жене сломаться, а у самого на душе тоже было пакостно. Волком выть хотелось, потому как жизнь свою считал несправедливою. Только страдал этак тихо, по-мужски. Негоже, думал, чтобы люди видели его слезы, тем паче слюни. А ведь обидно-то было как ему, ох и обидно! Ну почему, почему на их головы столько всего? — думал мужик. Ведь Храповы всегда были людьми законопослушными и мирными. И в Бога верили, и власть чтили, и соседей, вроде, не обижали. Но вот не заладилась жизнь — и все тут. И не сегодня, а уже, почитай, давно. Другие, напротив, ни в Бога, ни в черта не верят, власть костерят, с соседями на ножах, а живут припеваючи. А у Храповых, вот, никак. Может, из-за того, что слишком сермяжные они? Может, не надо было с такой истовой верой относиться ко всему?

Вот взять, к примеру, Иванова прадеда Прохора. Так тот в царе тогдашнем души не чаял. Голову готов был за него сложить. Особенно возлюбил его после того, как он их, крестьян, раскрепостил. Больше, чем отцу родному, верил. Но царь взял да сослал Храповых в необжитой дальневосточный край. Все деревней сослал для заселения далеких земель. Поворчали мужики, поохали, но смирились с обстоятельством. И когда пришел новый царь,

стали верить в него. Он-то уж точно избавит народ от бед, думали. Не избавил. Только шороху навел. Такой террор повсюду устроил — не приведи Господи! Кого-то из рода Храповых даже на каторге сгноили по ложному доносу, вроде как тот в революционном движении участвовал. А он всего-то, говорили, только прокламацию какую-то с земли подобрал...

Следующий царь уже при сыне его пришел, Василии, то есть при деде Ивана. Василий решил тоже не отставать и стал верить новому царю. Но тот взял да послал его вначале на японскую, а потом и на империалистическую войну, где он чуть не сгинул. Со второй войны пришел без руки и без ноги и тут же стал верить новой власти, которая явилась на смену царям. Эта, думал, хоть и безбожная, но зато от народа, она поймет простого мужика. Но эта власть взяла да отняла у Василия землю, которую ему царь дал в пользование. И не только землю у него отобрали, но и скот, и все орудия производства. Теперь все это было в колхозе, куда и самого Василия силком затащили. Но Бог с ним, подумал он. Властям там, наверху, виднее. Раз говорят, что так будет легче да веселее жить, значит, надо поверить. Но жить не стало легче и веселее. Революция на поверку оказалась безжалостнее всякого царя. Двух двоюродных братьев Василия она поставила к стенке только за то, что те вякнули что-то не по делу. Вроде как недовольство проявили. Василий растерялся. Ну ладно там, если бы они руку на эту власть подняли, а то ведь просто языками чесали. Да-а, дела, подумал. Надо, значит, держать с этой властью ухо востро. А то ненароком и его, Василия, того... За что? А хоть за что. Хотя бы за то, что он, как и его двоюродные братья, фамилию Храпов носит.

Так и жили Храповы, не видя ничего хорошего впереди, однако веря в торжество завтрашнего дня. Когда выросли дети Василия, то тоже стали верить властям. Тот же Егор, Иванов батя. То ли потому, что так у них в роду повелось — верить всякой государственной силе, то ли оттого, что никакой веры в ту пору больше не было. Царей отменили, Бога — тоже. Остались те, что вышли из народа, они и правили балом.

Власть однажды заметила крепкую веру Егора и стала привечать его. Перевезла из деревни в город, грамотешке малость подучила и посадила в небольшое кресло — стал он заведующим мастерской по выпуску конской амуниции, то есть предметов крайне нужных хозяйству — седел с подпругой, хомутов, дуг, чересседельников, подбрюшников, шлей, узд и вожжей. В общем, всей этой многосложной сбруи.

Ну вот, кажись, и выбились в люди, с гордостью думал старый Василий. Теперь все пойдет как по маслу. Оно всегда, мол, так: стоит только зацепиться за что-то — и ты в дамках.

Но Иванов отец недолго властью наслаждался. Пришла очередная война, и его забрали на фронт. Он-то думал, теперь все, теперь войнам конец — так, по крайней мере, обещала им новая власть. А оно вон как вышло. Выходит, и на старуху бывает проруха, коль не смогли там, на верхах, договориться и решили выяснять отношения с помощью пороха.

Впрочем, Егору-то вначале хотели броню дать, но разве это дело? Где это видано, чтобы Храповы отказывались державу свою защищать? Да и

соседи не поймут. Как, мол, так? У них же у всех одна доля. И хлеб черствый вместе жевали, и чай вприглядку пили, а тут почему сосед не вместе со всеми? В начальники выбился? Да уж не настолько велик начальник, чтобы под пули не идти. Ладно уж тем, что на самом верху, а здесь, на низах, все должны быть равны.

Вместе с Егором взяли на фронт и двух его подросших сыновей. Те радовались: мол, фашистов пойдём бить! Вернемся героями. Не вернулись. Да и Егор бы не вернулся, кабы не медики, которые спасли ему жизнь. Пришел — вся грудь в медалях, а одного глаза да правой ноги нет. И дома пусто. Два сына погибли, дочка умерла. Осталась стареющая жена Марья да сын Ванька. Вот и все богатство. Но разве это семья? Семья — это когда полон дом народу, когда всем миром можно горы сворачивать, думал Егор. А что свернешь втроем? Тут бы еще кого народить им с Марьей — да уже поздно. А ведь надо было бы. Да и не только им — всем его соседям, всей его любимой стране. Война-то подстригла население, и что осталось? Пшик! Значит, надо рожать...

Не имея возможности заняться детопроизводством, Егор решил, что за него это должен сделать Иван.

— Жениться тебе надо, Ванька, — сказал как-то он сыну.

Ванька нахохлился:

— Не-а, рано еще.

— Я те дам рано! — замахнулся на него Егор. — Женишься как миленький! Разве не знаешь, что самой главной задачей для государства ныне является расплод населения? Вот будет народ — тогда и коммунизм построим. А сейчас с кем строить? Да не с кем, брат, не с кем! Одни бабы, а что с них толку? Здесь нужна мужская извилина.

После войны Егора назад в заведующие не взяли, сославшись на то, что у него образования не хватает. Но он-то понимал, что вся беда в его, так сказать, непрезентабельности, что городскому начальству одноглазый и одноногий инвалид был не нужен. Устроился в сапожную артель — жить-то надо как-то было. Сын же его, Иван, после войны закончил ремеслуху и стал строить по деревням коровники. Платили мало, так как деревни были бедными и в них жила одна голь перекатная. Но на хлеб хватало. Ничего, думал Иван, проживем. Лишь бы войны больше не было.

Когда он немного поумнел, решил поступать на заочное в строительный техникум. Не всю же жизнь гвозди колотить — пора, мол, и мозгами научиться работать. А тех, кто работал у них мозгами, а не руками, прорабами звали. Вот Иван и стал вконец прорабом в колхозстроевском объединении.

— Ну вот, в начальники выбился, а все не женат! — по-прежнему упрекал его отец. — Годы уходят, когда ж рожать собираешься?

А у Ваньки была зазноба. Еще со школьной скамьи. Красивая такая деваха, цыганистая — под стать ему. Сам он тоже на цыгана смахивал. Смуглый, голова кучерявая, а в глазах огонь плещет. И в кого был — непонятно. Ни мать, ни отец на цыган не походили. Русоголовые были до седин. Да и глаза светлые, а у сына черные как смоль. Можно было, конечно, Марью во всем заподозрить, но Егор и в мыслях такого не держал. Знал, что она и

рядом ни с каким цыганом не стояла. Разве что если ветром похоть-то цыганскую ей под подол задуло. Но такого, говорят, не бывает. Вот ежели бы про Егора шла речь — тут другое дело. Уж он баб в свое время любил потискать. Живой такой был мужичок, страстный. Чуть ослабила какая баба за собой контроль, тут же в углу прижмет. И дети у него были на стороне, только об этом он молчал. Впрочем, он и сейчас бы не отказался от какой молодухи, да кто посмотрит на кривого да одноногого? Разве что запивоха какая, которой сто граммов поднесешь. Была у них одна на работе, дратву сучила. Выпивала наравне с мужиками. А ведь известно, что когда баба пьяная, плоть ее чужая. Так вот кто только ту бабенку не пользовал. Даже кривой Егор не стерпел и за компанию встрял в это непотребное мероприятие.

А вот Иван не в него пошел. Он девок сторонился, кроме своей цыганки, которую Зинаидой звали. Хотя в веселье поучаствовать не чурался. И пил со всеми вместе, и плясал. Особо любил «цыганочку». Ох, как он ее отплясывал! Выйдет бывало в круг, развернет плечи и начинает потихоньку набирать обороты. Глаза горят, ноги сами кренделя замысловатые выписывают. И-их, пошла, родная!.. Ну, кто смелый? Выходи с ним соревноваться. Но кто его мог переплясать? Ни девки, ни парни на это не отчаивались. Боялись, что на его сумасшедшем фоне они смешными народу покажутся. Ну есть ведь такие люди, с кем даже в мыслях невозможно сравнить себя. Таких и любят, и одновременно им завидуют. Вот и Ваньке завидовали. И тому, что он ядреный такой, и что невеста красавицей первой в округе была. А зависть ничего хорошего ведь не сулит. Тем, кто завидует, — Бог воздаст, но и тому, на кого эта зависть направлена, не всегда удастся охранить себя от недоброго глаза. А если этому глазу еще и гласом неправедным подсобить — тогда вообще худо.

Так и с Ванькой случилось. Был у него в помощниках один мастер, Акуленко. Личность серая и малопрятная. Сам в себе, людей сторонится. Хотя тихим был, но, как говорится, в тихом болоте... В общем, наклепал он на Ваньку, дескать, тот государственную денежку утаивает, взятки берет, людям недоплачивает. А ведь врал, гад! Да Ванька скорей себя по миру босым пустит, чем людей обидит. Есть они еще такие, кто со стержнем железным внутри да с чистыми помыслами. Но какой суд у нас оставит человека в покое, если на том чья-то дьявольская отметина лежит? Никогда этого не было. Карали по всей строгости закона, который не предполагает каких-то человеческих подходов и выяснений. Сказали «вор» — значит, вор.

Назначили Ваньке пять лет лишения свободы. Он места себе не находит, а друзья-сокамерники успокаивают его, дескать, тебе еще, парень, повезло, вот если бы война была — точно б дали «вышку».

Попал он в лагерь, где люди не работали, а только дурью маялись. А чтобы они не сходили с ума, начальство зимой гоняло их на речной лед, где они весь день таскали воду из одной проруби в другую, что в двухстах шагах находилась. За день так порой убивались, что ни о какой бузе и думать не хотелось. А побузить был смысл. Хотя бы для того, чтобы истребовать лучшей кормежки. Ведь они ж не враги своему народу, выйдут на волю — снова станут на государство пахать. А их баландой кормят, где ни

жиринки, ни крупинки — того и гляди окочуришься. Спрашивают, по-человечески ли это, а им: вы, дескать, сволочи, ими же и подохнете. А к сволочам у нас один подход... Ну тогда зачем было воспитывать, зачем зря деньги государственные на содержание тратить? Уж стреляли бы разом — меньше было бы хлопот.

Зинаида поначалу писала Ивану на зону, но потихоньку любовные чувства притухли, и она замолчала. Ванька вне себя от тоски и злобы. Да что ж она так? Неужто разлюбила? А может, это общественное сознание на нее так подействовало, что она решила не связывать свою жизнь с антисоциальным элементом? Но ведь он же писал ей, что ни в чем не виноват, или не поверила?

А тут письмо от матери приходит: так, мол, и так, вышла твоя Зинаида замуж. Да ты его знаешь... Он еще на суде против тебя показания давал.....

«Акуленко! Точно он... Вот же гад! — тут же затрясло в справедливом гневе Ивана. — Ну, погоди, вот выйду — я с тобой рассчитаюсь...»...

Потом он лежал на койке, и отчаянные думы посещали его. Точно так же когда-то переживали свою беду и его прадед, и дед, и отец. И думали они все о том же — почему это так не везет их роду-племени? Были бы хоть упыри какие, против государства выступали, людям житья не давали — так нет ведь, живут-то праведно. Однако жизнь их не жалует. Более того, она терзает их души, ломает, гнет, так и норовит расплющить тяжелым молотом, словно гвоздь на наковальне судьбы. Но разве это справедливо? Или так и должно быть с людьми, которые готовы душу свою на алтарь Отечества положить? Тогда стоит ли так радеть за все, коли, вместо благодарности, тебе постоянно делают больно?

Но предки Ванькины, думая об этом, так и не решились сделать шаг в сторону, так и продолжали идти прямой дорогой. И на них по-прежнему падали камни с житейских гор, по-прежнему их били социальные шторма и жгли молнии грядущих потерь. Так и сгнули они в своем праведном участии. Остались последние, как говорится, из могикан — Егор да он, Ванька, сын его. Но Егор уже стар, чтобы думать о каких-то там переменах. Тогда он, Ванька, должен за всех сказать решительное слово. Он должен отомстить, правда, пока неизвестно кому, за всех своих родичей, за то бестолковое настоящее и прошлое, в котором страдали и продолжают страдать Храповы.

Когда его наконец выпустили, вернулся домой. А там старики его полуживые. Плачут, Бога благодарят, за то что он смилостивился над ними и дал возможность напоследок свидеться с сыном. Дождались, а потом па-ашли помирать один за другим. Вначале отец отдал Богу душу, а вскоре и мать преставилась. И остался Иван один-одинешенек на всем белом свете.

Отчаяние и безнадежность охватили душу Ивана. Вначале он даже хотел застрелиться из старого дробовичка, который от деда еще остался. Потом раздумал и решил застрелить Акуленко, а заодно и Зинаиду. Но тоже раздумал. А, пушай живут, подумал. Не садиться же из-за них снова в тюрьму. Ведь всех подлецов на свете все равно не перестреляешь. Вместо этого решил жить дальше. Устроился проводником на скорый поезд, так на нем и путешествовал два года по стране. Там и нашел свою Варьку. Она была от-

куда-то из Сибири, домой возвращалась после учебы на бухгалтера. Ее-то он и заманил в свои места. Хотя нет, это она сама поняла, что встретила хорошего человека и поплелась за ним. Поговорила, послушала его историю — и пожалела. А может, это уже и любовь была, потому как без любви трех детишек подряд в наше время не рожают. Значит, привязать хотела к себе накрепко. А Иван и без того бы никуда не делся. Девка-то пригожая, умница, на работе ее все любят, а дома у нее чистота и порядок да пельмешки в горшочках по выходным. Ну чем не жизнь?

Соседи Ваньке завидуют. Дескать, вот повезло непутевому — такую девку отхватил. А ведь судимый.

Вот она жизнь собачья, вот она людская зависть. И никуда от нее не убежать, не скрыться.

А тут и Зинаида нарисовалась. Что пришла-то? — недовольно спрашивает ее Иван. Да на детишек твоих, говорит, хочу посмотреть. Но он-то видит, что она в основном на Варьку пялится, все хочет сравниться с ней. А взгляд у нее цыганский, жгучий — того и гляди сглазит. Даже если сама не захочет, природа все за нее сделает.

Так и произошло. Но это будет после, а сейчас Варька стол накрыла, гостью кушать усадила.

— Садитесь, пожалуйста, — говорит, а сама улыбается.

Иван-то растерялся, не знает, как и поступить. То ли тоже сесть за стол со своей бывшей зазнобой, то ли пойти по улице прошвырнуться. Однако остался. Что-то ведь его удержало. Может, любопытство, а может, и прежние чувства всколыхнулись. Ведь как бы он ни судил Зинку, а сердце-то екнуло, когда она появилась у них в доме. Обошла все кругом, фотокарточки на стене рассмотрела. Увидев себя на одной, лицом даже порозовела от удовольствия.

Собой она по-прежнему была хороша, и это Иван успел отметить про себя. Ну разве что чуть пополнела. В грудях прибавилось, да и бедра стали круче. Не ходит, а прямо-таки плывет по комнате, словно тот черный лебедь на пруду. Глянешь на нее — глаза ослепнут, до того хороша собой. А тут еще как будто случайно волосы свои заколотые распустила, которые враз тяжелой волной упали до пояса. Сделала, кобыла, это и тут же лукаво стрельнула в Ванькину сторону — ну как, мол, я, еще ничего?..

А он аж онемел от такой красоты.

— Ну как вы там, Зинаида, с мужем?.. — только и сумел произнести.

Но за столом язычок у него после третьей рюмки все ж развязался. Вначале, правда, сидел и, блукая глазами из стороны в сторону, точно кот на тех настенных часах, все сравнивал жену с Зинкой. Но что тут сравнивать? На Зинку глянешь — тут же похотливые чувства в тебе появляются, штаны, в том месте, где ноги у тебя сходятся, начинают вдруг отчаянно вздыбливаться. И голова кругом идет. Ну а Варька... Она попроще, хотя и не без претензий. Светлая душа! У нее и волосы светлые, и глаза, и изнутри у нее свет идет.

— Ну так как вы все-таки живете? — не получив в первый раз ответ, снова спрашивает Ванька, только уже смелее.

Зинаида пожала плечами.

— Да живем... — И усмехнулась. Не будь рядом Варьки, она бы, наверное, другое сказала, а тут требовалась дипломатия. Не дай Бог эта светловолосая женщина ее в чем-то заподозрит — тогда все, тогда забудь дорогу к этому дому.

В общем, посидели они тогда и разошлись. Так и не понял Иван, для чего на самом деле цыганка эта приходила. Сказала, детишек посмотреть, но на них даже не взглянула. Все на него да на его Варвару пялилась.

А тут заболела Варюха. Они к врачам, а те и понять не могут, что с ней. Лечат какими-то пилюлями, а ей все хуже и хуже становится. Так и померла, оставив врачей в их беспомощном удивлении. Тихо так умерла, как и жила. И остался Ванька с тремя детишками горе мыкать. Соседи, что за загородью жили, сочувствуют ему, жениться советуют, а он Варвару забыть не может. Счастье это его было и покой, а еще надежда и участие. Ну где больше такую найдешь? А тут снова Зинка приходит. Ну что, мол, бобылюешь? А давай-ка, дескать, я своих к тебе пацанов приведу и будем мы этот детский сад вместе поднимать. Он мотает головой. Нет, дескать, я как-нибудь один.

Так и жил до старости. Дети худо-бедно выросли, выучились, а потом и покинули отца. Первой вылетела из гнезда старшуха его, Галка, выйдя замуж за офицера, затем Семен в примачи подался, а вот Митрий задержался. Иль со мной решил жить? — спрашивает отец. — Тогда женись, детишек роди, а я буду вам помогать, с внуками нянчиться... А тот: да ты что, батя! Глянь, какие времена настали — до женитьбы ли? Надо, дескать, жизнь новую строить.

А тогда как раз наступали перемены, те, что Москва затеяла. Люди митингуют, лозунгами машут, кричат что-то, куда-то все зовут. И по радио то же самое, и по телевизору. Вся страна будто бы с ума спятила. И Митрия было не узнать. Каким-то взбалмошным стал, мечется, мысли путаются. Домой порой возвращался под самое утро, а когда отец спрашивал, где это он был, отвечал прямо: революцию, говорит, батя, готовим. А нужна она вам? — удивляется Иван. Сколько, мол, их уже было, а что толку? Но сам понемногу присматривается к новому, пытается что-то понять. А когда увидел, что старая власть покачнулась, даже вроде обрадовался. А, думает, и на старуху бывает проруха. Но так вам и надо. Ведь сами виноваты во всем. Мы-то вам верили, а вы что? Отпочковались от народа и жили в свое удовольствие. А кому это понравится? Вам же не для того власть была дана, чтоб вы забыли про людей. И я это, мол, не про колбасу говорю, которая давно уже стала в дефиците — вы в душу нам плюнули, не сумев, как следует, распорядиться народной жизнью.

Тут и зачесалась задница у Ивана, тут и он замитинговал. Ну вот, думает, теперь я отомщу за всех Храповых скопом. За все хорошее, что нашей фамилии пришлось вытерпеть в этой жизни. Трибуны с боем берет, выступает. «Даешь, — кричит, — свободу совести! Даешь равенство и братство!» — «Ура-а-а!» — кричат ему в ответ и тоже: «Даешь!...»

Тут и рухнула старая власть. Ивана — в депутаты, Митрия — в вожди областные. Теперь уже он из высоких кабинетов стал руководить народом.

Верит Иван новой власти, верит Митрий, что эта власть самая справедливая. Так уж у них на роду было написано, чтобы верить. А тут — бац! — загвоздка. Народ зароптал. Что такое? Оказывается, у новой власти силенок не хватило, чтобы цены в магазинах сдержать. Идеями ведь сыт не будешь — людям еще и колбаса нужна. Это же не Франция, не та же Германия, где идейное часто становится выше материального. Тут без колбасы никуда. Она и революцию-то новую сделала. А была бы она в магазинах — кому бы пришло в голову все менять? Колбасная, одним словом, страна. Это и будущим правителям нужно запомнить как «Отче наш» — иначе не избежать им новых революций.

Но Храповы продолжали верить в торжество идей. До тех самых пор, пока новая народная сила не упразднила их как власть.

Ладно, думает Иван, знать, умнее люди пришли. Так сказать, молодая поросль ума. За такими и будущее. А тут вдруг он увидел в одном высоком президиуме знакомое лицо — и обмер. Это был начальник их лагеря, который, не зная, как обеспечить заключенных работой, заставлял их воду из одной проруби в другую таскать. И рядом с ним сидела до боли знакомая ряшка. Ба, да ведь это судья, который ни за хрен собачий ему тогда срок впаял. Следом сидел бывший прокурор, который затеял все Ванькино дело. А в конце... Да неужто это он? И оборвалось у Ивана сердце. И жутко ему стало, и тоскливо... Как же так?! — чуть не закричал он. Да ведь этот же человек... Нет, он не мог поверить, что перед ним был тот самый Акуленко, который когда-то наклепал на него и, по сути, лишил его чистоты биографии. Сволочь ты такая! — в сердцах думает Иван. Выходит, ваша теперь власть? Ну тогда можно представить, что вы тут натворите.

А те божились и клялись, что станут верными слугами народа, что они дадут людям жить и процветать.

Зажался в себе Иван и так теперь и жил. На Митрия смотрит — сердце кровью обливается. Ведь тот теперь без работы остался. Куда ни сунется — везде отказ, потому как все боятся замараться его биографией. С оглядкой живут, новую власть боятся, а та, в свою очередь, боится потерять приобретенное.

Запил Митрий в таком душевном состоянии. Пил и дурел. А потом на войну попросился на кавказскую и там сгинул. Иван сидит, горюет, слезы льются у него из глаз. Да что ж это мы такие, Храповы-то, несчастные? Почему нам так не везет в жизни?

А все потому, что вы верите всем напропалую, вдруг услышал он внутри себя чей-то голос. Глупые вы, вот вас жизнь и ломает. Изумился Иван. Так ведь мы, как все, начинает он защищаться. Люди верят — и мы верим. А как иначе жить?..

Но ответа он не получил. Вечером напился с горя да устроил дебош в магазине. Его на пятнадцать суток оформили. В милиции он по новой разошелся. Жизнь свою клянет, властей, мировую историю. Даже Богу досталось.

А Бога-то за что? — снова услышал он внутри себя чей-то голос. Ведь это Зинка виновата во всех твоих грехах. Она тебе жизнь испортила, потому ты и страдаешь.

Зинка? Всего-то? — усмехнулся Иван, которого как дебошира приковали наручниками к отопительной системе, и теперь он напоминал собой Христа на распятии, том самом, который устроил ему по доброте своей душевной некто прокуратор иудейский Понтий Пилат.

Из изолятора временного содержания Иван выходил с тяжелой мыслью о своем будущем. Ведь теперь он знал, кто виноват во всех его несчастьях. Зинка! Она, гадина! Это от нее все пошло...

Пришел он домой, сделал из старого дробовичка обрез, закатал его в мешковину и отправился на поиски Зинаиды. Квартиру, где она жила с Акуленко, хоть и с трудом, но все ж он нашел. Открыл ему дверь хозяин.

— А... — говорит. — Это ты, Иван? Чтой-то ты на ночь глядя пожаловал?

— Да к Зинаиде я... — отвечает тот. — Где она? У меня должок к ней имеется.

Акуленко удивлен. Он теперь большой начальник. У него у порога вещички собраны — в свой только что отстроенный коттедж собирается переехать.

— Да ты, Иван, разве не знал? — спрашивает он.

— Нет... А что?

— Так ведь год уже как ее парализовало, — вздыхает Акуленко.

— И где ж она? — растерялся Иван.

— В доме престарелых... Туда ее свезли. Вначале в психушке лежала, а потом я решил, что там ей будет удобнее...

Хотел после этих слов Иван шарахнуть в этого гада из двух стволов, но что-то его остановило. О Зинке он вспомнил. И теплая волна участия вдруг прокатилась по его жилам. Надо спасти дуру, решил он — и отправился в дом престарелых, чтобы увезти Зинку с собой. В самом деле, не там же век свой доживать. Не по-человечески это как-то...

Он шел и уже не думал ни о торжестве мести, ни о том, как несчастен их храповский род — только о Зинке, которой в этот момент было тяжелее всех на свете. В том и философия была его жизни, трудной, непутевой, но праведной.

Петушки

От Москвы до Самары всего каких-то восемнадцать часов поездом. Можно даже купе не брать — дешевле путешествие обойдется, да и на людей хоть можно посмотреть. Но я не люблю колготни, поэтому езжу даже на такие короткие расстояния в купейном. Четверо человек в отдельном отсеке — это тебе не полсотни кислых рыл. Здесь меньше к тебе пристают с вопросами, меньше донимают просьбами. Хотя и тут все случается.

На этот раз нас ехало только двое — я да какой-то парень лет тридцати. Остальные два места были вакантными. Сезон отпусков-то закончился, и теперь поезда ходили полупустые.

На первый взгляд красота. Простору — как в новом склепе. Но скоро я понял, что лучше б с нами еще кто-нибудь ехал, а то от этого попутчика я

уже через час пути устал. Дерганый он был какой-то, неприятный. Такими из тюрьмы выходят и дергаются до тех пор, пока не привыкнут к воле.

Что интересно, он не выпускал бутылку с пивом из рук — всю дорогу пил, все напиться не мог. Сделает глоток, отрыгнет, пукнет — и снова к горлышку.

— Слышь, мужик, пива хочешь? — как только мы оказались в одном купе, спросил он.

Я отказался. И не потому что не люблю пиво — просто я всегда боюсь навязчивых людей. Выпьешь с таким, а он потом от тебя не отвяжется. Ему будет казаться, что ты ему по гроб жизни будешь должен. Или же примет тебя за своего в доску и начнет утомлять рассказами о своей непутевой жизни.

Но этот и без того стал приставать ко мне с разговорами. Вначале спросил, откуда я родом, потом — где работаю, сколько получаю, сколько у меня детей, один ли раз был женат, есть ли у меня любовница, и самое главное — приходилось ли мне «торчать» на зоне.

На все эти вопросы я постарался ответить обтекаемо, так, чтобы все выглядело достаточно малопонятно. В отличие от меня тот фраерок в порыве душевного откровения как-то легко и просто, при этом совершенно не редактируя собственное прошлое, выложил мне свою биографию на блюде. Меня его жизнь совершенно не интересовала, но есть же такие, кому кажется, что их биографию чуть ли не по учебнику надо изучать. А посмотреть — всего-то в ней ничего. Так, курам на смех. Но они гордятся ею. Даже есть такая порода, которая готова хвастаться направо и налево своим непотребным прошлым. Допустим, судимостью своей. У иных из таких этих судимостей бывает несколько — так они еще больше гордятся. Особенно это стало модным в последнее время, когда бешеную популярность вдруг приобрели те, кого раньше и на пушечный бы выстрел не подпустили к порядочному обществу и кого старались бы, как говорится, обходить за версту. Этакие бескомпромиссные и жесткие, лишенные всяких комплексов и принципов отчаянные парни, от которых так и веет сложным запахом дорогого одеколона и тюремных нар. Это раньше на ум уповали, а теперь в почете сила и нахальство. Можешь человеку морду набить — значит, герой. Украл — тоже герой. На улице отнял у бабенки кошелек с деньгами — и это сойдет. Вот и выходит, что сейчас честно работать стало зазорно — куда как лучше деньги нечестным путем зарабатывать. Не зря ведь поговорка пошла: чтобы жить, нужно трудиться; чтобы жить хорошо, нужно придумать что-то другое. И ведь придумывают. Вся страна чего-то придумывает. Одни воруют, другие обманывают, третьи отбирают, четвертые мошенничают, пятые обдирают кого-то как липку, шестые... В общем, всякого хватает. Вот только праведной жизни стали люди стесняться. Праведно живешь, значит, ты слабак, значит, несчастный — потому и бедный. А с такими о чем говорить?

Вот и этот мой попутчик сразу спросил, на чем я делаю деньги. Я ему говорю: да не делаю я деньги, а он не верит. Дескать, те, кто их не делает, в общих вагонах потеют, а ты, мужик, все-таки предпочитаешь ехать белым

человеком. Значит, у тебя есть для этого свой резерв. А резерв из ничего, вроде того что, не возникает. Его нужно заполучить каким-то образом.

Я понял, что его трудно переубедить, и решил замять эту тему. Говорю, да есть одно дельце, которое приносит мне небольшой дивиденд. Он тут же порозовел от удовольствия и прильнул ухом к моим устам: дескать, говори, не стесняйся — я все пойму. Ну я и насочинял ему что-то — не буду же говорить, что я писатель. А то подумает, что у нас в стране державной писатели хорошо живут, тогда как они с хлеба на воду перебиваются. Я это о тех, кто серьезные вещи пишет, а не строчит какие-то там «сонники», которые читают на ночь глядя, чтобы поскорее заснуть, а наутро и не вспомнить, о чем там шла речь.

— А я, мужик, большой человек в этой жизни! — откупорив очередную бутылку и сделав из нее затяжной глоток, произнес он. — Свирепым меня все зовут. Будешь в нашем городе — заходи, если что надо, помогу. А найти меня просто: только назови мое погоняло — тебя тут же с шиком ко мне доставят.

Я смотрю на него и не понимаю, что в нем свирепого. Тощий весь, морда синюшного цвета. Казалось бы, коль пьешь пиво, значит, харя твоя должна быть здоровенной и кумачовой, как бывший советский флаг, а нет. Выходит, не в коня корм.

— Ну, а по-человечески-то тебя как звать? — спрашиваю его.

Он хмыкает.

— По-человечески! — передразнивает. — Да если бы меня по-человечески называли, кто бы меня боялся?

— А так боятся? — удивленно вопрошаю я.

— Еще бы! — сделав очередной затяжной глоток и отрыгнув, этак важно говорит он. — Если бы не боялись, меня бы никогда не назначили смотрящим...

Я-то понял, о чем идет речь, однако прикидываюсь дурачком.

— Смотрящим? — вроде как удивленно переспрашиваю его. — Ты что, в пожарной команде служишь?

Он фыркает. Окстись, мол, дядя! Я в законе! Какая может быть работа! Когда он говорит, он как-то смешно шлепает своими влажными и толстыми не по размеру и чуть отвислыми, как у начинающего алкаша, губами.

Я продолжаю играть в наивного мужичка.

— Ну, в моем представлении смотрящий — это тот, кто сидит на колокольне и наблюдает за округой — не загорелось ли где...

Свирепый по-лошадиному ржет.

— Слышь, — говорит, — приеду, расскажу пацанам — ведь не поверят, что меня за пожарника приняли.

Он снова ржет. А я ему:

— Так почему все-таки «смотрящий»?

— Да потому! — бросает через губу. — Я за городом смотрю, понимаешь? Кто сколько ворует, кто сколько отдает в общак, кто сколько скрывает... Ну, понимаешь? Я тот же начальник милиции, только наоборот. Он одни законы охраняет, а я другие. И мы ладим. Веришь? Как говорится, ты мне, я тебе. Он на меня не наезжает, ну и я на него. Потому и живет он не хуже

любого олигарха. У него и квартир не счесть, и загородных домов, даже парочка своих ресторанов имеется — я уж не говорю про машины, которых у него больше, чем у нашего мэра в личном гараже. Жадный, гад... Увидит что — тут же и ему давай. Одного фраера богатенького посадил на крючок и доит. Увидел, что тот ездит на черном «Хаммере» — такой же себе попросил. А потом и серого, как у мэра. А вот я этой хренью не балуюсь. Если нужно, меня и на такси отвезут куда надо или там на личной тачке какой. Вот недавно в Подмоскovie по делам катал...

Он делает новый глоток и морщится.

— Ты что это? — не понял я. — Или пиво невкусное попалось?

— Да нет... Это я вспомнил кое-что... — говорит. — Другому бы не рассказал, а тебе можно. Ты вроде ничего мужик, не будешь смеяться... А я, доложу тебе, тогда в такое говно вляпался — спасу нет!

Это «спасу нет» он употреблял часто, по делу и без такового. Ну есть же у иных людей любимое выражение, которое они готовы пристроить где нужно и где не нужно, так, что порой получается смешно.

— Ну так говори, коль доверяешь, — прошу парня.

Вообще-то этот Свирепый к тому времени уже мне порядком надоел и со своим пивом, и с глупыми разговорами, и терпел я его только потому, что деться мне было некуда. Так я невольно узнал, что у этого доходяги целых три ходки на зону. Первый раз он попал за то, что воровал деньги в синагоге, которые прихожане оставляли для нужд общины в кубышке, покоившейся на небольшом столике у входа. Потом этими «халявными» деньгами он сорил направо и налево. Днем пил с дружками на какой-нибудь «блатхате», а вечером ехал в ресторан. При этом ехал, как те куражливые морячки, вернувшиеся из плавания, — в одном такси пиджак, в другом — фуражка, в третьем — он сам. Вернее, в первом едет сам, а уж вещи катят за ним следом.

А что в кабаках он вытворял! Сядет, бывало, за стол, вымажет нарочно скатерть в горчице, а потом требует на весь зал, чтобы сменили ее. Это он кайф таким образом ловил. И так несколько раз за вечер. Если официант начнет противиться — такой шум поднимет, будто бы его наследства незаконно лишают. Официанты жуть как ненавидели Свирепого, однако голос подать боялись, потому как у того были связи в криминальном мире. А это чревато...

Но потом, в ходе бурного застолья, он сполна компенсировал официантам причиненные им неудобства. Да, верно, они у него крутились как белки в колесе, но зато он и платил им щедро за каждую услугу. При этом щедрость его постоянно росла, особенно после каждого очередного выпитого им бокала вина. А когда он вовсе напивался, то доброта его уже была безграничной. Мало того что от него имели официанты, так он еще и красоток ресторанных не забывал, тех, которые, почуяв запах денег, весь вечер вились возле его стола и которым он с пьяной похотливостью то и дело записывал за лифчики залапанные своими жирными после цыпленка-табака руками купюры.

Завершались оргии тем, что он влезал на эстраду и, сунув в руки старшему лабуху в качестве платы за весь предстоящий кошмар несколько «зе-

лененьких», начинал реветь что-то невообразимое в микрофон. Те морщились, но продолжали играть, памятуя истину, что деньги не пахнут, особенно в наши сумасшедшие дни, когда о них всюду только и говорят. Кончалось все тем, что Свирепый, — правда, к тому времени он этим Свирепым еще не был, — швырнув оставшиеся дензнаки в публику, засыпал мордой в салате или на кухонном столе, куда он часто забредал, потеряв всякую ориентацию в пространстве.

И вот он, утомив меня сюжетами из своего непутевого прошлого, неожиданно решается поведать мне о чем-то, как я понял, необычайно важном. Во мне заговорило профессиональное любопытство. А вдруг что-то путевое на этот раз расскажет? Впрочем, пусть это будет и не так, но я давно уже пришел к мысли, что любой немудреный рассказ случайного попутчика — это лучший подарок для писателя. При этом — чем разношерстнее публика, с которой ты общаешься, тем лучше. Ну где ты еще почерпнешь столько знаний, как не в разговоре с людьми? Где услышишь такую живую речь, которая поможет тебе в будущем живописать какую-то картину?

— Короче, попал я, мужик, однажды в такое говно... — откровенно начал свой рассказ Свирепый.

А случилось вот что... Как-то пришлось ему по своим неотложным делам выехать на стареньком «Рено» в сторону Москвы, которую Свирепый величал не иначе, как столицей-мамой. С ним были двое — водила и телохранитель. Жмурики — спасу нет! — сказал он. — Шесть ходок на двоих: два магазина, три киоска и один труп. Но он им покуда верил — чай, своя шпана.

Им тогда немало пришлось поехать по Подмосковию, обделывая какие-то свои делишки. Проезжая мимо небольшого населенного пункта, один из тех двоих, тот, что был его водителем, вдруг предлагает заехать в городок, найти забегаловку и отобедать. Обед оказался знатным. Здесь и пиво подали неразбавленное, и шашлыки из настоящей баранины, а вдобавок даже сдачу дали.

— Хорошее место, надо его запомнить, — уже когда выехали из городка, заметил Свирепый. — Как оно там называлось-то?

— Петушки... — без всякой задней мысли с готовностью подсказал ему тот, что был его телохранителем.

И тут произошло что-то страшное.

— Что! — взревел испуганно Свирепый. — Какие еще такие Петушки?!

— Ну, обыкновенные... — ничего не предполагая, повторил водила, после чего тут же получил смачную звездюлину.

— Ты куда меня, сука, завез, а?! — зарычал Свирепый, и видно было, как он глубоко и душевно переживает. — Ты же знал, как называется эта хренова деревня... Ну, знал, тебя спрашиваю? — Тот со страхом кивает ему в ответ. — Выходит, ты это все специально подстроил?... — И снова звездюлина. У Свирепого ручонка небольшая, но кость-то твердая.

— Да нет, не специально... Просто не подумал... — потирая ушибленный глаз, лепечет парень.

— Что, падла такая, ты не подумал?

— Ну, про то...

— Ага, значит, ты понимаешь все... — С этими словами он еще раз со всего маху врезал водиле, но только уже попал не в глаз, а по уху. — Да ты козел после этого, вот ты кто! — продолжал заводить себя Свирепый. По натуре он был патологическим психом, поэтому еще неизвестно было, чем все это закончится. — Ну я тебе это припомню... — распалялся он. — Я припомню... Нет, вы гляньте: я три раза зону топтал и никто меня не назвал педиком... А тут — бац! — Петушки... Нет, в натуре, ты что натворил?.. А если мои кореша об этом узнают? Да какой я после этого буду авторитет?

— А мы никому не скажем... — стал божиться водила.

— Гадом буду, не скажем... — подтвердил охранник тела.

— В общем, проштрафились они тогда у меня, — взвалив вину на обоих попутчиков, продолжал свой рассказ Свирепый. — Теперь это были самые заклятые мои враги, которые могли в любую минуту зарезать меня без ножа. Им только стоило рассказать, как мне понравились эти Петушки, — и все, и крышка... А они: да не скажем мы, не скажем никому! Ну поверил я им. Глядите, говорю, не то сами знаете, на что я способен...

На том и порешили. Сделав дело, они вернулись в родной город. Неделю все было тихо, а тут как-то гуляли они с корешами в ресторане, и один из них возьми да заяви вдруг ехидно: а ну-ка, мол, Свирепый, расскажи, как ты под Москвой-столицей в петухи попал...

И екнуло сердце у Свирепого. Проболтались, суки, вспомнил он недобрый словом своих попутчиков. Ну все, конец вам...

— Да не в петухи, а в Петушки!.. — попытался юлить Свирепый.

— А не все ли равно? — усмехнулись ему в ответ.

И тут он стал что-то говорить, а над ним смеялись.

— Свирепый у нас петушок теперь — ха-ха-ха!

— Хо-хо-хо!

— Ку-ка-ре-ку! — уж совсем обнаглел кто-то, и тогда Свирепому пришлось взяться за нож. Но ему не дали высказать свой весомый аргумент. Просто заявили, чтобы он, как полагается авторитету, поставил жирную точку в конце этого неудачного для него эпизода жизни. И тогда он сказал, что убьет фраеров. На это ему никто возражать не стал. Как-никак, речь шла о воровской чести. А в таких случаях нередко все заканчивается кровью.

— Короче, я должен был их наказать, — ведет свой рассказ дальше Свирепый. — Вот сижу и думаю: то ли их насосом надуть, то ли яйца оторвать? А тут они: Свирепый, прости!.. Это мы сдуру... Что хочешь проси — все сделаем, только не губи... Я снова сижу, думаю. Весь город ждет, что я с ними сделаю. Уже несколько раз авторитетные товарищи звонили, ну, те, на ком наши воровские законы держатся, спрашивали, что я с ними буду делать.

В общем, город притих в ожидании развязки. Все были настолько уверены, что вот-вот в одной из ближайших программ утренних радионовостей прозвучит информация о двух красивых молодых трупах, найденных в подворотне, что распространившийся вдруг слух о том, что те двое, которые уже были приговорены, беспрепятственно выехали в неизвестном направлении, потряс публику. Как?.. Неужели?.. И тут же приговор: ну тогда Свирепому все, кранты...

А он как ни в чем не бывало приходит на очередную пьянку к кентам. От него все шарахаются, как от прокаженного, замараться боятся, а он вдруг: да не бойтесь, я с ними по-своему расправился. И это будет похуже, чем если бы перо в бок. Похуже? — удивляются кенты. А что может быть хуже смерти? Так ведь я их заставил в тех Петушках прописаться! — торжественно заявляет Свирепый. Одно дело в могиле спрятаться, другое — всю свою жизнь нести откровенный позор. Ведь как, к примеру, мы называем тех, кто живет в Москве? Правильно, мол, москвичами. А те будут всю жизнь петухами! Вы представляете?..

И тогда кореша с уважением посмотрели на Свирепого. Ну дает!.. Это ж надо было так жестоко наказать пацанов — врагу не позавидуешь.

И пошла жизнь дальше. Но теперь Свирепый, выезжая по делам, всякий раз интересуется, как называется тот или иной населенный пункт, мимо которого они проезжают. Не дай Бог еще в какую-нибудь историю попасть. И если вдруг ему что-то покажется подозрительным, он тут же незаметно перекрестится и следом заставит водилу покрепче надавить на газ, чтобы поскорее убраться от этого страшного места.

— Вот такие дела... — закончив рассказ, говорит мне Свирепый. — Нет, ты понял, что творится на свете?.. Ты понял?.. Кстати, — вдруг спрашивает он меня, — ты в саму Самару едешь или же транзитом куда?

— Транзитом, — отвечаю я.

— А дальше-то куда? — отхлебывая из бутылки и с трудом вмещающая очередную порцию пива в свой переполненный желудок, этак для порядка спрашивает он.

— Дальше-то?.. Ну а дальше — на Урал... в Петухово — есть там такой городок. Старого друга хочу поведать...

Тут Свирепый и задохнулся — не то в нечаянной злобе, не то от пены, что с испугу попала ему не в то горло.

— К... к... как? — только и проговорил он сдавленным голосом.

Я усмехнулся. Дескать, не везет же тебе, браток, с этими несчастными пернатыми. Может, ты и пиво-то пьешь, сваренное где-нибудь в Малых Петухах... Кстати, а почему бы и нет?.. Но я не стал развивать тему. И без того я видел, как перекосилась от безнадежности синюшная физиономия Свирепого. Он мучился душой и страдал от несправедливости жизни.

Шанс

Вечерняя зорька... Самые тихие из тишайших часов на земле, когда вокруг все насторожилось и замерло, как эти кусты-раскоряки шиповника на бугре, как заросли тальника, что размашисто прошелся по низинке, как озеро — этот раскосый девичий глаз, подернутый туманной поволокой и обрамленный пушистыми ресницами камыша. Как погружающийся в темноту восток и испачканный малиновым соком запад. Тишина... Лишь изредка нарушает это мирное спокойствие шуршание крыльев диких голу-

бей, летящих куда-то на ночлег, да задевающий за самый нерв тишины всплеск ондатры в заросшей водорослями старице, что отделена от озера невысоким бугром...

Из-под пламени заката то и дело возникнут на горизонте два-три темных пятна и устремятся в полной тишине прямо на твой взгляд. И лишь когда эти пятна, приобретя ясные очертания, стремительно и со свистом пронесутся над твоей головой, поймешь, подавив восторг в себе, что это дикие утки. И чем дальше раскручивается пружина времени, тем все чаще и чаще со стороны левобережных зейских лугов по одному, а то и в паре или табуном, без единого звука, словно летучие мыши, летят и летят чирки, крякаши, лысухи, другая водоплавающая живность на облюбованные за лето озера. Случается, летят также кулики, чибисы, иная мелкота, на которую часто даже неважнецкий охотник дробь жалеет. Но и эти летят сторожко, сторонясь любых темных силуэтов подле озер, высматривая опасность, скрытую в прибрежной осоке и камышах. Днем вся эта дичь на дальних лиманах отдыхала от опасности и суеты, к ночи же потянулась на кормежку, к озерам, где долгие темные часы станет нырять и кувыряться в воде в поисках жратвы, жируя перед массовым отлетом на юг.

Сезон осенней охоты начался с вечерней зорькой в прошлую субботу; птицу за неделю повыбили да распугали — из города было слышно зазейскую канонаду, — поэтому сегодня она летела не так уж чтобы дружно, но настороженно, ощупывая зорким глазом все и вся вокруг. Ничего, через недельку она успокоится, расслабится, следовательно, потеряет и бдительность. Вот тогда и стоит привезти сюда весь свой охотничий азарт, который накопился с весны. А то, что мы приехали с Юрьевым на бесптичье, не говорило о том, что мы безумно изголодались по дичи. Нет, конечно. Просто уходят погожие дни, приближается зима, а тебе хочется затормозить бег времени и еще немного насладиться прелестью нежной и трепетной поры.

Мой товарищ, укутавшись в плащ с капюшоном и прихватив с собой «вертикалку», уплыл на резиновой лодке кормить комаров. Сейчас он, бедолага, сидит где-то на противоположной стороне озера, невидимый среди высокой осоки, и ждет у моря погоды. Я же, разомлев от двух кружек духмяного чая, спрятался за куст раскидистого шиповника, чтобы меня с низкого неба чирки-нырки не разглядели и не увильнули в сторону от озера, где терпеливый Юрьев ждал своего часа, и притих, наблюдая за природой окрест.

...По-видимому, такое у каждого бывает: порой, когда ты вовсе не настроен думать ни о чем определенном, калейдоскоп всевозможных видений и мыслей начинает вертеться в твоей голове. И ведь нет бы ему остановиться на чем-нибудь хорошем, например, на воспоминании о твоей первой любви или же на том, как в прошлый раз ты неожиданно для себя приобрел в «букинисте» «всега» Кафку, но непредсказуемый калейдоскоп обязательно замрет на видении, глубоко неприятном для тебя. Бывает, замрет в таком положении, что вызовет в тебе пронзительную боль от воспоминаний, совершенно не гармонирующих с той обстановкой, в какой ты застал эту боль.

Нечто похожее произошло и со мной, когда я, убаюканный тишиной, наслаждался вечерней зорькой раннего сентября.

«Если сегодня ночью не придешь в мой блиндаж, завтра полетишь с десантом на немецкие зенитки. Подумай, военврач, — ведь тебе еще жить да жить...» Для слов этих в моей памяти отведено особое место. Почему? Очень тяжело отвечать на этот вопрос. Душе больно. И слова ненависти бороздят kloкочущее горло.

У истории этой есть свое начало. 1942 год... Невдалеке разорвался шальной снаряд, и для того, чтобы она лучше расслышала его слова, он некоторое время ожидал, пока земля проглотит громовой раскат. «Если сегодня ночью...» А ведь у него был шанс, чтобы осмыслить то, что он собирался сказать. Несколько секунд... Какую возможность дарила судьба человеку — не всем такое дано! У него был шанс, чтобы не превратиться в подлеца, но что-то вдруг в нем хрустнуло и оборвалось... А может, это просто-напросто разум помутился от близости молодого женского тела? В прифронтовом лесу, где было и без того много боли, несправедливости к судьбам людей, прибавилась еще одна боль.

«Если не придешь в мой блиндаж...»

Даже вся последующая жизнь не причинила ей столько боли, как те гнусные слова, произнесенные много лет тому назад. Военные раны и контузии тоже. Она стояла перед ним маленькая, беззащитная, пораженная в самое сердце его жестокостью, и ничто в мире не могло ей помочь... Маленькая женщина на большой войне... Уже сама эта несправедливость противоречит разуму, но ей тогда было тяжелей вдвойне. «Если не придешь...»

История эта рассказывалась в нашей семье не единожды и каждый раз — с промежутком в несколько лет. Быть может, делалось это и неумышленно, а так, к случаю, но с годами мне стало казаться, что в этом есть свой смысл. Например, чтобы вызвать в нас, детях, определенные эмоции, что были полезны для формирования нашего внутреннего мира.

Я помню свою реакцию, когда впервые услышал об этом. Будто бы перед тобой поставили гроб. Страшно, но глядишь во все глаза и скрепя сердце слушаешь, как над твоим ухом звучит эта вырывающая внутренности трагическая музыка, которая с этого момента раз и навсегда вошла в твою душу. «Подумай, военврач...»

Что важно, у этой истории всегда был один и тот же конец. Не сентенциозный и нравоучительный, придуманный во имя воспитательного момента. Вовсе нет. Концовка была из реальной жизни: «Через день или два он действительно отправил ее с группой парашютистов к партизанам в Брянские леса. И были немецкие зенитки, и только чудо спасло ее».

После этих слов отец — а рассказывать о боевой молодости жены было всегда его прерогативой — уже ничего не досказывал, ничего не комментировал и оставлял все вопросы открытыми, как бы давая тем самым каждому из нас, детей, возможность самостоятельно обмозговать услышанное и сделать свой вывод. Какой? Это уже должно было подсказать сердце...

Помнится, мне страшно хотелось узнать фамилию того негодяя, кто однажды послал мою маму на немецкие зенитки, как и то, какова его дальней-

шая судьба. Но я долгое время не мог решиться спросить об этом у родителей. Наверное, я просто еще не знал, что буду делать с этой правдой. Был бы зрелым мужиком — другое дело, а так...

И все же пришло время, когда я с завидной легкостью сбросил шкуру несмышлениша-лягушонка и почувствовал в себе способность поступать так, как поступают взрослые люди. И произошло это в одну из бессонных ночей, которые случаются у каждой созревающей личности, когда под аккомпанемент доселе неведомого мне по силе душевного волнения в моем разгоряченном мозгу неожиданно возникли те самые слова: «Если не придешь... полетишь с десантом на немецкие зенитки...» А вскоре я уже знал не только фамилию своего личного врага, но и то, как его звали-величали.

Чем глубже солнце погружалось в гигантскую яму, разверзшуюся где-то на западном горизонте, тем все отчетливее возникали в моем мозгу картины неопределенного настоящего и прошлого. Одни из них были плодом воображения, другие отражали известные мне реальные факты. Я как бы мысленно погружался в ретроспективу, и она все больше и больше заполняла мои мозговые клетки реалиями, запахами, звуками; звуки постоянно усиливались, картины оживали, и вот я уже оказался в центре странных для меня вещей. И не было уже рядом ни куста шиповника, ни вонючего болотца, ни далекой зари, а было другое, что прикасалось к моим оголенным нервам...

...Самолет набирал высоту. Больно сотрясая его железный механизм, мощно работали двигатели. Это счастье, когда только ты один ощущаешь биение своей жизни, но ведь пройдет немного времени, и о существовании ее узнает враг. И тогда в огромное тело черного неба, как в ржаной хлебный каравай, вонзится лезвие прожектора, отыщет своим жалом маленькую живую точку, и уже через мгновение тысячи пуль и снарядов, подгоняя друг друга, умчатся в темноту с одним лишь желанием — разорвать, разрушить эту живую плоть.

Их было десятка полтора измученных войной бойцов, которых послали почти на верную гибель. В основном то были мужики — и среди них только одна женщина. Маленькая, хрупкая, она неподвижно сидела на длинной скамье, прижавшись к дрожащему от напряжения корпусу самолета, погруженная в свои думы. О чем она думала тогда? О чем думали те, кто летел вместе с ней? О жизни? А может, о смерти? Никто этого уже никогда не узнает, ибо время стирает боль. И только воспаленное воображение может сегодня приблизительно воссоздать ту страшную картину. Но и этого, кажется, достаточно для того, чтобы понять все...

...С парашютом прыгать маме никогда до того не доводилось, но это и не интересовало того, кто отправлял ее в преисподнюю. Перед полетом, правда, «нарисовался» инструктор, который наспех объяснил ей, как покидать самолет, подтягивать стропы, управлять спуском, как приземляться и гасить купол парашюта. Объяснил и ушел. А она полетела. Парашют, автомат, граната, саперная лопатка, санитарная сумка и немудреный сухой паек... Все что нужно для выполнения задания. Но кто знает, пригодится ли ей все это, воспользуется ли она хотя бы частью из этих казенных вещей. Война...

А ведь у нее был шанс, чтобы по-иному распорядиться своей судьбой. Стоило ей тогда только согласиться — и все, и никаких волнений, никаких переживаний. Шанс был! Почему же она им не воспользовалась? Выходит, не думала о себе? Более того, о нас, своих будущих детях, которые при худшем раскладе так никогда бы и не родились? Имела ли она право не дать нам жизнь, не воспользоваться шансом, чтобы выжить?

Сегодня, по прошествии многих лет, я знаю: все мысли мамы в тот тяжелый час были обращены к своим будущим детям. Только ради нашего не омраченного ничем счастья она сделала свой выбор. И донесла до нас чистоту своей души, которую мы приняли с благодарностью.

...Где-то вдали догорала вечерняя зорька. Я будто бы видел ее и уже не видел, погруженный в нечаянный сон. Не поддающееся описанию состояние отдохновения души. Ты как бы уже находишься во власти ночи, ты живешь ее жизнью, но глаза твои, погруженные в себя, продолжают наблюдать окружающую тебя жизнь. Ты уже спишь, но душа твоя бодрствует, она и в темной ночи видит далекий свет.

Когда же это было? Десять лет назад, год ли... Помнится, я послал открытку в адрес совета ветеранов гвардейского корпуса, что творит свои добрые дела при одной из московских школ. Поздравил бывших фронтовиков с приближающимся праздником Победы, а в конце сделал приписку: так, мол, и так, прошу выслать адрес такого-то товарища, если он, конечно, находится в полном здравии. И что же вы думаете? Не прошло и месяца, а на моем столе уже лежал его адрес.

«Ну и молодцы вы, старички-боровички! И ведь не поленились, ответили, — радовался я московскому письмецу. — А этот, значит, жив, коли вы мне его адрес называете... В столице, дьявол, обосновался... Как, интересно, он туда попал? Он же ведь, кажется, не из тамошних. Хотя этот может все. Это добрые да честные обречены на последние роли в обществе...»

Вот и мой шанс подоспел. Не ожидал, что так просто судьба подарит его мне, но где-то в глубине души я верил, что не всегда справедливость одолеваема подлостью, бывает, что и она становится победителем, и тогда на белом свете вершатся праведные суды. Я тоже желал судить и был уверен, что имею на это право. Но хоть бы и не имел его, я все равно был готов мстить. Подлость, считал я, должна быть наказуема. Не обязательно физически, конечно. Порой одного взгляда достаточно, чтобы человек был заживо сожжен правдой.

Самое страшное в этом деле — забыть зло. Посчитать, что за давностью времени любая подлость имеет право на забвение. Нет, забывать нельзя. Неотмщенное зло опасно...

В июле того же года, достав путевку в туркомплекс «Измайлово», я вылетел в Москву. Так это было? Наверное, так. По крайней мере, так это мне представляется.

О чем я думал в тот период? Как представлял себе встречу, о которой бредил долгие годы? На этот вопрос я вряд ли смогу сейчас ответить, но

помню одно: была фанатическая целеустремленность. Видимо, с тех самых пор где-то на стыке груди и горла у меня порой возникает удушье, и происходит это тогда, когда я очень волнуюсь или же негодую. Необыкновенной силы удушье возникло у меня и в самолете. По мере приближения к Москве оно не только не прекратилось, оно, словно пламя, охватившее высушенное до пороховой зрелости сено, разбушевало так, что мне едва удалось осилить его. Говорят, что такое удается лишь сбалансированной личности. Не знаю, может быть, это и так, но тогда, думаю, мне помогло лишь чудо. Иначе сердце бы не выдержало и разорвалось...

Часто говорят: талантливый актер, талантливый писатель, талантливый хирург... А почему не называют талантливыми тех, кто прекрасно владеет своими эмоциями? Разве это не великий талант — уберечь свое сердце от беды? Или уберечь от нее чужое сердце, вовремя сдержавшись и не оскорбив, не обидев человека? Кто знает, может, наступит время и человечество поименно назовет тех, кто за свою жизнь ни разу не причинил боли другому человеку. Не оскорбил, не унизил, не сделал зла...

В Москве был пик туристического сезона. Казалось, все расы и языки, все народы и народности собрались и суетились в эти дни на самых красивых в мире и уютных московских улицах.

Первым же моим желанием было — бросить все и, прорвавшись сквозь заслоны рас и языков, броситься к нему. Огромных усилий стоило мне удержаться, не сорваться, чтобы, не дай Бог, не проиграть начатую мной игру. Ведь часто бывает, нас побеждают только потому, что мы спешим и поступаем неблагоприятно.

Отбросив прочь нетерпение, я влился в поток туристов и первые три дня следовал только командам экскурсоводов. Стороннему человеку могло показаться, что мои мысли целиком поглощены дворцами Шереметева и Голицына, новостройками Медведкова и Чертанова. И пусть простят меня москвичи, но в этот приезд их прекрасный город оказался серым, скучным и бестолковым, потому как трудно бывает улыбнуться левым глазом, если правый плачет от горя. Ведь всякий раз, когда я ехал с экскурсией куда-нибудь в Кусково или Кузьминки, у меня сердце было не на месте. Потому что где-то здесь, в этой стороне Москвы, находился и его дом. Эта нечаянная близость не давала мне покоя, и я даже сделал пару попыток сбежать от своего экскурсионного табунка и устремиться к заветной цели, однако вовремя одумывался и возвращался на круги своя.

Как бы там ни было, но час нашей встречи неминуемо приближался, хотя я и не знал точно, когда он наступит. Может, завтра, а может, через неделю. Одно я знал твердо: этой встречи уже не избежать ни мне, ни ему. Однако, как говаривал мой дед, предполагать — это еще не значит располагать. Как говорится, пути Господни...

Дом как дом, каких много на московских улицах. Дернув за ручку железной двери, я понял: не зная шифра, я никогда не попаду в этот подъезд. Мода нынче такая пошла: чем дальше в светлое будущее, тем прочнее мы врезаем замки, при этом ищем такие, чтобы и самому трудно было в них

разобраться. Кого боимся-то, от кого прячемся? Должно быть, от самих себя...
«Сим-Сим, открой дверь...»

Испытав фиаско, я отправился в поисках таксофона вдоль тенистой тихой улицы, больше похожей не на столичную, а на привычную душе и сердцу провинциальную.

Таксофон я нашел быстро, и вот уже онемевший от напряжения палец судорожно набирает группу цифр, которые скороговоркой выпалила мне телефонная барышня. Срыв! Это все от волнения. Комбинирую цифры заново... и не могу закончить операцию. Сердце бьется в самый подбородок, грозя раздробить его на мелкие части. В груди знакомое удушье.

«Если не придешь... полетишь с десантом на немецкие зенитки...»

— Алло! Это квартира...

— Да.

— Будьте добры, позовите к телефону...

Некоторое замешательство, а затем:

— Папа болеет, он в больнице. А что вы хотели?

Я повесил трубку.

Тряпка ты, а не мужик, — тут же ругаю себя. — Да разве такой, как ты, сможет вцепиться негодяю в горло? Если ты даже по телефону говоришь с заиканием! Трусливый провинциал — вот кто ты!

А потом, не знаю зачем, я пересек улицу и поплелся туда, куда повели меня ноги. Подземный переход вывел меня к небольшому базарчику, где продавались первые летние ягоды и незамысловатая российская зелень. Купив пакетик вишни, я махом опустошил его, однако даже сладкая ягода не смогла заглушить во мне горечь, которую я испытал после разговора по телефону. Ну чего я струсил? — вновь и вновь спрашивал я себя. Ведь это был всего лишь приятный женский голос...

В разменной кассе вместо сияющего, как луна, полтинника получил горсть медяков, выбрал нужную монету, и автомат угостил меня каким-то полусладким игристым напитком. Потом я встал в тень под сень раскидистой липы и стал соображать, что делать.

«Может, снова позвонить? — Но комплекс провинциальной стеснительности сразу же поднимает во мне голову. — А что толку звонить? Ведь тот, кто тебе нужен, находится в больнице...»

Тут провинцию лихо и нахально отпихивает в сторону дремавшая до сей поры удаль. «Обязательно нужно позвонить. И расспросить тот приятный женский голос, что назвался его дочерью, о том, что с ее отцом и как к нему можно попасть...»

И вновь провинция:

«А если голос спросит, кто я и зачем он мне нужен? Сказать, что это звонит сын его фронтового товарища? Но ведь у меня язык не повернется заявить так. Он же дьявол, а разве у дьявола могут быть фронтовые друзья?..»

И опять это проклятое удушье. «Если не придешь...»

...Я даже не пошел, а задыхаясь помчался к таксофону. К черту провинциальные комплексы! Я должен позвонить... Я должен обязательно узнать, как его найти. Иначе, зачем я здесь?..

«Если не придешь в мой блиндаж...» Эти слова уже многие годы преследуют меня и не дают мне спокойно жить. Они не дают мне забыться. Они все зовут меня куда-то, все зовут, зовут...

Наташа была молодой и достаточно привлекательной девицей. Ее светлые, коротко стриженные волосы декорировали правильное, с легкой нервинкой лицо. Мы сидели с ней в гостиной и вели пространные диалоги. Странно все это было. Разве я мог когда-нибудь предположить, что однажды буду вот так сидеть с дочерью ненавистного мне человека и разговаривать о пустяках...

«Если не придешь...»

Я вглядывался в Наташино лицо, стараясь найти в нем его пороки. Ну если не пороки, то хотя бы что-то отталкивающее, хотя бы одну несимпатичную черточку или неприятную нотку в ее голосе. Увы, как ни старался, сделать этого не смог. И ее голос, и глаза, и каждый жест были выражением добросердечности и душевного равновесия.

Наташе еще не было и тридцати, и это меня настораживало. По моим подсчетам, ее отцу должно быть уже за семьдесят. Почему такая молодая дочь?

Отцу, рассказывала она мне, «сыну его боевого товарища», не повезло в жизни. Первая жена — она и сейчас живет где-то под Киевом — оказалась черствым человеком. Так отзывался о ней отец. Она была совершенной противоположностью мужа, не понимала его, морально угнетала, поэтому, несмотря на то, что у них было двое детей, отцу пришлось оставить ее.

Слушая свою новую знакомую, я думал о том, как же ей, той, что из-под Киева, повезло, что он ее бросил. Я-то чувствовал, что во всем виноват именно он. Ну не может человек, отправивший женщину на верную смерть, быть затем чьим-то примерным мужем. Не может — и все тут.

— Тяжело, наверное, было отцу столько лет алименты платить... — нарочито скорбно произнес я, но Наташа поспешила меня успокоить. Оказывается, алименты никто никому не платил: женщина, что из-под Киева, отказалась от его услуг.

Что ж, подумал я, та женщина в самом деле была полной противоположностью твоему отцу.

— Видимо, они поженились еще до войны? — искал я связующую нить между десятилетиями, чтобы нанизать на нее все, что относится к нему.

— Нет, до войны у папы был совершенно нелепый роман... Можно сказать, студенческий, — будто бы смущаясь чего-то, рассказывала Наташа. — Так, нечто несерьезное... А в результате — тяжба эта, растянувшаяся на долгие годы. Сутяжница все пыталась доказать причастность моего отца к своему ребенку... Но не на того напала!

«Действительно, не на того, — подумал я. — Этот чуть что — сразу на вражеские зенитки пошлет».

Хотя где-то в глубине души я все-таки питал надежду, что и подлецы с годами меняются. Ну был срыв, совершил ты падение, так преодолей себя, поднимись, стань лучше, чем ты был вчера... Нет ведь, как говорит мой друг Юрьев, курвиметр всегда остается курвиметром... Наверное, он где-

то прав. В самом деле, подлецы редко становятся праведниками. Подлец же образца 42-го года — это вовсе особый подлец...

А Наташа уже защищает отца.

— Вы только, пожалуйста, не подумайте, что мой папа какой-то проходимец. Нет, он очень интеллигентный и мягкосердечный человек. Мухи не обидит. Наверное, эта мягкосердечность и мешает ему в жизни.

«А ведь ты, голубушка, как я погляжу, совсем своего отца не знаешь, — хмурю я брови. — Мухи он не обидит!.. А этого не слыхала: «Если не придешь... полетишь с десантом на немецкие зенитки...» Или он тебе об этом не рассказывал? Конечно, он не тот человек, чтобы такое рассказывать. А хочешь, я расскажу? Интересно, сумеешь ли ты после этого спать спокойно? Сумеешь ли оправдать «интеллигентного и мягкосердечного»?»

Кажется, я потихоньку начинаю ненавидеть свою собеседницу. Причина, видимо, в том, что она слишком похожа на своего отца. Ведь она, сама того не ведая, живет его мыслями, смотрит на людей его глазами. «А может, вывести тебя из заблуждения? — неожиданно приходит мне в голову. — Может, тебя следует наказать за то, что ты его духовный портрет?.. Впрочем, Бог тебе судья. Быть может, я ошибаюсь и ты совершенно не похожа на него. Хотя не о тебе сегодня речь, и грех твоего отца — это еще не твой грех. Потому ты меня не интересуешь, интересуется меня он. Тот, кто в сорок втором послал одну молодую женщину на смерть...

Впрочем, что ни говори, а с этого момента Наташа тоже становится неотъемлемой частью моей судьбы. Потому как вместе с нашими родителями мы давно являемся прямыми участниками одной сложной психологической истории, которая будет незримо объединять нас с ней до конца нашей жизни.

Представим на мгновение, что моя мама не вернулась из преисподней, куда толкнул ее... отец этой девочки. Естественно, не было бы сегодня и меня, ее сына. Но была бы его дочь, Наташа. Потому что был бы он. Но справедливо ли это? Вот живет подлец, который плодит, быть может, себе подобных чад, но нет в живых человека с чистой душой, моей мамы, как нет и ее детей, которых она бы постаралась воспитать в своем духе... Вот и выходит, что я случайный человек на этой земле, потому что мама случайно осталась живой. Случайна ли Наташа? И с какой целью Бог даровал ей жизнь — чтобы она через всю свою судьбу несла тяжелый грех своего родителя или чтобы искупила его?..

— Ты нигде не упомянула о своей маме, — сказал я ей.

— Мама? — Наташа взглянула на меня как-то странно — так, будто бы чего-то испугалась. — Это трагедия нашей семьи...

Безусловно, мне очень хотелось узнать до конца историю его жизни, но что-то подсказывало мне, что его дочери тяжело было об этом говорить. Я глубоко вздохнул, давая тем самым понять, что вопрос исчерпан, но она вдруг заявила:

— Вам я могу рассказать.

О, как мне неловко от этих слов! И не потому, что минуту назад я думал

о ней не самым лучшим образом, а потому, что Наташа, доверяя мне свое сокровенное, искренне считала меня другом своей семьи. Я же, по всем существующим человеческим законам, таковым быть не имел права. Но в данной ситуации я предпочел молчать и слушать.

— В таких случаях иногда говорят: человек сгорел в любви к ближнему, — сказала она. — Вот и мама наша сгорела... Что, вас это удивляет?

— Нет-нет, все в порядке... — спешу я погасить удивление на своем лице. — Продолжайте.

И она поведала мне грустную историю.

Ее родители познакомились на одном из медицинских симпозиумов здесь, в Москве. У мамы, как сказала Наташа, уже были труды, ученая степень, ее фамилия все чаще и чаще упоминалась в ученых кругах. Отец в ту пору был обыкновенным соискателем ученой степени. Он был напорист в свои сорок с небольшим, тщеславен и пользовался успехом у женщин. Видимо, сказала Наташа, они крепко полюбили друг друга, потому как вскоре после их знакомства мама занялась хлопотами о переводе отца из провинциальной больницы в одну из московских клиник.

Отцу повезло, ведь он бы, по словам Наташи, погиб в провинции. Ну как можно, дескать, там существовать творческой личности. В этом убожестве, в этой скуке и обыденщине.

— Вот вы... — она обращается ко мне. — Вы, наверное, тоже испытываете на себе тяжелое давление провинции?.. Неужели вы бы отказались от переезда в Москву?

Мне не хотелось объяснять ей, что суть не в том, где ты живешь. Впрочем, я понимал, что, сама не ведая того, она снова пыталась защищать своего отца, мысля при этом его же категориями. Я ничего не ответил ей и лишь неопределенно пожал плечами.

— Вы разве не согласны со мной? — заметив мое телодвижение, с удивлением спросила Наташа. — А я все же думаю, что это вполне естественное стремление человека жить в столице, особенно если он талантлив. Именно здесь, а не где-то там, на задворках, талантливый человек сможет реализовать себя...

Боже мой, из уст дочери во всем своем блеске пробивалось отцовское красноречие. Только он мог произнести эти слова в минуты полного откровения. По-видимому, такие минуты у него были, как были и минуты незамаскированной, откровенной подлости.

Итак, что же происходило дальше? А дальше, рассказывала Наташа, была искренняя и обоюдная любовь двух не совсем чтобы молодых, но пребывающих в расцвете духовных и творческих сил людей. И вот ради этой любви одному из них пришлось пожертвовать своей научной карьерой и отдать все свои силы на благо семьи.

— На эти жертвы пошла, конечно же, мама? — извинившись, что перебиваю, спросил я Наташу и, когда услышал утвердительный ответ, только едва заметно улыбнулся.

Ну а что же отец? Найдя себя на ниве большой науки, он продолжал «высасывать» из своей жены весь ее талант, все знания, которыми она обла-

дала. Но это не Наташины, а мои слова. Она что-то подобное применительно к своему отцу не скажет. Ее огораживали от правды. И пусть она продолжает говорить о горении во имя любви, о жертвах, творческих муках — я не поверю ни единому ее слову. У меня на сей счет есть своя версия...

Да, жена его любила безоглядно. Да, она пошла на жертвы во имя его успеха, но ведь это, я нисколько не сомневаюсь, вынудил ее сделать он. Он умеет посылать людей на вражеские зенитки... А когда она, набравшись ума и опыта, поняла, что человек, ради которого она пожертвовала всем на свете, обманул ее, присвоив себе выстраданные ею тайны научного познания, более того, что он вовсе и не любил ее никогда, а только притворялся любящим ради достижения корыстных целей, вступила с жизнью в конфликт. Она погибла. Как уж это произошло, меня, как человека некровожадного, совершенно не интересует, я знаю одно: он над ее прахом не убивался.

А в Наташином сознании вакуум правды, — с болью подумал я. — Она не живет свою жизнь, она в чужой лжи купается. Что ж, видимо, это участь всех отпрысков конченных подлецов — жить не свою жизнь... Бедная Наташа!

Потом мы разговаривали на отвлеченные темы. Я рассказал Наташе о Дальнем Востоке, о нашем провинциальном житье-бытье, она же посвятила меня в тайны столичной жизни, поделилась сплетнями о здешних знаменитостях. Она много кокетничала, я же не в меру шутил — в общем, со стороны могло показаться, что мы стараемся друг другу понравиться. Но не для этого я был здесь, в этом доме, где, казалось, каждая деталь семейного интерьера смотрит его глазами, прикасается к тебе его руками. Честно признаться, я с самого начала возненавидел этот дом и с нетерпением ждал той минуты, когда выйду отсюда и вдохну свежего воздуха московских улиц. Но вот наконец я почувствовал, что пора закругляться. Моя миссия в этом доме была выполнена, я узнал многое такое, что придало мне сил и уверенности довести дело до конца. Оставалось встретиться с ним...

— Это будет очень хорошо, если мы вместе пойдем к папе, — обрадовалась Наташа, когда я сказал, что хочу посетить ее отца в больнице. — Только вот боюсь, разволнуется мой старичок... Вы знаете, инфаркт был обширный, папу едва вытащили с того света...

Насчет «разволнуется» — это она точно подметила, подумал я. Да, верно, он не переживет, когда узнает, кто я таков, когда я напому ему его прошлое... И это будет венцом моей мести.

О эта свирепая жажда мести! Она неукротима, словно ураган. Теперь до полной моей победы всего-то осталось ничего. Стоит сделать один шаг — и все, и шкатулка моих тайных желаний захлопнется, словно крышка гроба..... О, как колотится сердце... Еще немножко — и я доживу до той заветной минуты, которую ждал всю свою жизнь.

Мы договорились с Наташей о завтрашней встрече, но перед тем как мне уйти, я попросил ее показать фотографию ее отца. И чтобы она непременно была из той, из военной поры. Она приветливо улыбнулась мне, потом вышла из гостиной и вскоре вернулась с его фотокарточкой, на обороте которой была едва заметная надпись, выведенная когда-то химическим карандашом: «1942 год»...

Мы долго и пристально смотрели друг другу в глаза. Хотя и глаза эти, и его лицо казались мне каким-то расплывшимся бурым пятном. Это оттого, что я сильно волновался. Глядя на это пятно, я пытался проникнуть в его душу, пытался понять, о чем он там, на этой фотографии думает. Может быть, именно в тот момент он и замышлял зло против моей мамы? О, как я ненавидел его! Как жаль, думал, что меня не было в сорок втором. Это была ошибка природы, которую, к сожалению, невозможно исправить.

— Тебе известна такая фамилия?.. — и я называю девичью фамилию своей матери.

— Нет, а что?

Я так и думал. Даже подлец предпочитает своей подлостью не бравировать...

В темноте, нарушая хрупкость тишины, один за другим прозвучали два выстрела. Даже во сне я понял, что это Юрьев бьет из своей «вертикалки» по только ему видимым целям. Я вздрогнул, и меня мгновенно перенесло из мира грез в мир реальностей. Боже, подумал я, что мне снилось! И откуда это? Кому было угодно вложить в мою голову столь откровенно реальный сюжет?

Меня даже пот прошиб от сознания того, что все виденное мной во сне — лишено действительности. Разве что... «Если сегодня ночью не придешь в мой блиндаж, завтра полетишь с десантом на немецкие зенитки...» Такое было на самом деле — и это факт. Но вот остальное... И ведь как будто в самом деле я все это пережил. Но... Может, это вовсе не мозг мой сочинил все это, а оно есть страдание всей моей жизни? Может, так оно и должно было быть? Именно так, а не иначе? Ведь бывает, что мир нашего подсознания точно совпадает с тем, что было в действительности... Так было это или не было на самом деле? Наверное, не было, но суть не в том...

Было темно. Глаз озера, еще недавно мутно серебрившийся в сумерках, пропал из виду вслед за последним лучом солнца.

— Во-ло-дя! — решив, что нужно звать Юрьева, не то беднягу сожрут комары, закричал я.

— У-гу-у! — ответил он мне откуда-то из темноты.

— Хватит комаров кормить — плыви к стану!..

— Все, плыву!..

Уже в дороге, устало шевеля «баранкой» и осторожно обходя в свете фар выползающие нам навстречу препятствия, я со всей остротой ощутил какую-то незавершенность сегодняшнего дня, всей этой поездки в раннюю осень.

«Что это со мной? — думал я. — Неужели... Да, да, конечно, все это оттого, что Юрьев своими выстрелами помешал мне узнать, что там было в финале... Кстати, в финале чего? Сна или же какой-то подсознательной яви? Впрочем, неважно. Пусть это был сон. Но я должен был хотя бы во сне дописать страницу одной неоконченной правды. Увы, мне этого сделать не удалось. Тогда, может быть, сейчас, пока мы в пути, пока мой «жигуль» нащупывает дорогу в темноте, я додумаю... я дострадаю все до конца?»

Итак...

Мы договорились с Наташей встретиться на следующий день, чтобы вместе отправиться в больницу к ее отцу... К назначенному часу я не пришел. Интересно, она уже прочла записку, которую я оставил в ее почтовом ящике?

Накануне я не мог уснуть. Я все думал, думал, думал... Вот в эти минуты душевного напряжения и родилась та записка, которую на следующий день я опустил в Наташин почтовый ящик.

«Наташа, прости, но обстоятельства вынуждают меня возвратиться домой, — писал я. — Жаль, что мы так и не смогли вместе с тобой сходить к твоему отцу. Ты вот что, передай ему привет. От кого? Скажи, от сына его фронтового товарища. Порадуй его. Ведь старикам всегда радостно, когда приходит весточка из их молодости. Это лучше любого лекарства. И пусть его не огорчает то, что я сам к нему не пришел. Скажи, что я, вроде того что, решил не травмировать его воспоминаниями. Ведь порой и воспоминания могут больно ранить душу. Прощай. Будь счастлива. Гость Москвы».

Это был мой шанс. Как уж я им воспользовался, хорошо ли, плохо ли, одному Богу известно. Главное, я не поступил так, как обязательно поступил бы он, — толкнул бы своего противника в преисподнюю. Пусть себе живет, пусть этот престарелый негодяй доживет свою жизнь.

А за мать я все-таки отомстил. Уже тем отомстил, что не упал до его уровня. Он бы не пожалел, он бы пришел к изголовью больного и попытался добить его... Сволочь... Ладно, пусть живет. Ведь он никому уже не сможет сделать зла. Сил не хватит. А вот Наташка будет счастлива, что он жив. Как-никак, отец все же. Родная душа. Наверное, единственная в мире...

— Эй, водитель! Ты там не заснул случайно? А то притих, и даже вроде не шевелишься. — Это Юрьев мне. Сам, видать, задремал в темноте, а очнулся — тихо. Вот и решил со мной заговорить, а то, глядишь, и я начну носом клевать. А это чревато за рулем...

— Да все нормально, Володя, все нормально. Не сплю...

Я был благодарен ему за то, что он дал мне возможность по-человечески завершить этот день. Именно по-человечески.